

НЕТАЙ

1

Затяжные дожди месяца Савр вытянули за ушко да на белый свет всю зелень. Воздух чист и прозрачен. Солнце, точно девица после долгих слез, поглядывает с высоты небес сквозь влажные ресницы.

Непрестанное щелканье перепелиного племени приветствует весну-невестку: «Добро пожаловать, добро пожаловать!..»

Парни, всю зиму превшие на ежевечерних тукмах — пирушках, рыщут в поисках площадки попросторней, чтобы помериться силами в борьбе.

Лишь для улицы Андреевской (Пойкавак) все четыре времени года — весна. У нее свои, особые, солнца. Ее перепела не смолкают никогда, а парни там меряются силой круглый год...

Это — развеселая улица. Она живет, не разделяя общепринятых радостей и забот. У нее и радости — свои, особые, и заботы — свои, особые.

Ей не пристали ни благонравие, ни чинность; напротив, здесь всецело царствуют распутный гогот, срамные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли. А сама улица источает какой-то сладковатый и приторный аромат.

Публичные возлюбленные, такие, как Путахон, Санталатхон, Зебихон, Холдархон, Саодатхон, Маъфиратхон, Лутфихон, воплощают душу этой улицы. Ими и держится ее вечная весна.

Лишь ради них стекаются сюда издалека городские юнцы-ремесленники и ухари-чапани. Ради милой пьют, ради красоти готовы прозакладывать и халат, и сапоги. Будь что будет — лишь бы насладиться минутной беседой с Зебихон, короткой песней, миловидным лицом и пышными формами. Они готовы схватиться с соперником на кулаках, готовы по воле избранницы человека убить, а требуется — готовы сами умереть.

На кон — деньги, и на кон — жизнь.

Нередко арык, протекающий через Пойкавак и вливающийся в Салар, начинает краснеть и дымиться — то ли от стыда за ежевечерние безобразия, то ли от особенных лютоостей и зверств минувшей ночи.

Лишь им — в тоске — посвящают песни поэты. В рассуждении черных бровей, благоуханных волос, гибкого стана и яблочно-румяных щек.

Изгиб бровей твоих избрал
я алтарем для чувств своих,
Зубам твоим не предпочту
аданских перлов дорогих.
Предстань хоть тысяча Зулейх,
ты превзойдешь красою их,
Ведь город мускуса Хутан
не знал волос длинней твоих.
Пленились родинкой твоей
на Инде дальнем, Зебихон!
Сурьмой, как трауром, глаза
оделись, чтоб меня казнить.
Сто ран в душе от стрел ресниц,
которых мне не отразить.
Молю тебя единый взгляд
безумцу страсти подарить,
Чтоб ожил Масихо и мог
живым среди живущих жить.
Яви внимание рабу
в плену печальном, Зебихон!¹

Так говорят поэты и впивают, не брезгуя, затхлый дух пирушек. Однако самим Зебихон и Путахон оттого не легче. Душа слезами обливается, а лицо смеется. Сердце кровоточит от унижений, а глаза уязяты призывно.

Неведомая для них неотвратимость, незримое по-
нуждение бросили их в эту золотую пучину. Некий охотник с алчными глазами заточил их в эти золотые клетки.

Окруженные преходящим поклонением, они невольно задыхаются в объятиях нелюбых, часто сменяющихся дружков.

Нередко они плачут.

¹ Стихи в повести даны в переводе Р. Галимова.

Но слезы эти — глупые слезы. Ибо — есть же у них хозяева! И по гроб жизни они обязаны этим хозяевам!

Пища — даром... Одевка-обувка — даром... Жилье — даром...

Стало быть, красоткам остается лишь радоваться веселой жизни да благодарить хозяев. И уж не почесть за тягость занять гостей, поиграть, посмеяться, одарить лаской и негой залетных — на одну ночь — воздыхателей...

К звукам развеселых недр Андреевской улицы присоединился еще один дуэт. Со стороны Салара приближались два пьяных джигита и орали песню, брызжа пеной изо рта, как два одуревших верблюда.

Не ходите в Искобил, там дороги — ой-ей-ей... эй!

За урюк ли, яблоко — там расстанешься с мощной... эй!

Подошел я под урюк, подошел под яблоню... эй! ёру!

Вижу, девушка лежит, извивается змеей... эй!

Этот рев, эти несущиеся вдоль улицы голоса друзей захлестнули все иные вопли.

Долговязый, тот, что проглатывал половину слов и гнусавил в нос подголоском, тянул за рукав бекасамого халата коренастого крепыша с открытой грудью, на каждом плече которого могло бы усесться по человеку.

— Палван... Палван, говорю, погодите немного...

— Чего тебе, растяпа? Не ломай песню...

— К кому пойдём-то? К Холдархон или к Санталат?

— Вай-ей, по мне так... обе хороши. К какой ведешь, к той и пойдём, растяпа, тебе лучше знать, что к чему на этой улице.

— Значит, идём к Холдархон, тем более — с хозяйина ее, с Каракоза, мне небольшой должок причитается.

— Причитается?! Ха-ха-ха... я гляжу, где мы теряем — тебе, растяпе, причитается, а? Только этим и не занимался... Как говорится, поишь цыганского осла и ухитряешься деньги за это слупить, ха-ха-ха...

Коли руку запушу, где нет пуговок, ер-ер,

Два граната всколыхну, что без косточек, ер-ер...

— Вай до-о-од, что за местечки без косточек!..

Вдвоем они подошли к большому зданию под золоченой вывеской и, подпирая друг друга, пошли наверх по множеству ступенек.

— Самад,— сказал Палван,— если сам не будешь языкаться со здешними — моя не понимай, ха-ха-ха...

— Ладно, Палван.

Самад и Палван подошли к дородной женщине, сидевшей при нумерованной дощечке с ключами.

— Издирас, мамашка, издирас, как поживай?

— Ничего,— сказала женщина.

— Хозяин здесь? Каракоз?— спросил Самад.

— Здесь, в конторе.

— Идемте, Палван. В конторе, оказывается, сам. Зайдем.

— Оставь, растяпа, без меня зайдешь. Вдруг денег не будет — засовестится. Брось, растяпа.

— Но должок же имеется, Палван!

— Слышал! Я на этот твой должок...

— Не даст денег — подцепим кого-нибудь на шермака, Палван.

— Назвался джигитом — плати сполна, растяпа, не привыкай на шермака.

— Да тут все свои, чего чваниться, Палван?!

На шум, поднятый ими в коридоре, хозяин сам вышел из конторы. Это был довольно полный человек лет сорока. Борода сбрита, рот прикрыт висячими усами, брови срослись на переносице; черные полосатые брюки держались на подтяжках, перекинутых через плечи. Разведя руки с выпрямленными пухлыми ладошками, он прикусил нижнюю губу, качал головой и, показывая глазами на одну из дверей по левую сторону коридора, призывал к порядку Самада и Палвана.

— Душа моя, Самад, приди в себя! Разве тут место для шума-гама, того-сего... Будто не знаешь, да...

— Ага,— сказал Самад, потирая палец о палец,— монету гони, монету!

Хозяин пожал плечами.

— Идем, дорогой, тут не годится вести счеты.

Втроем направились в конец коридора. Там свернули направо и спустились в нижний ярус номеров — в подвал.

Подвал битком набит людьми. Как в обычном трактире, рядами расставлены столы и стулья, в сторонке — буфет. Пиво, водка, коньяк. Наготове — любых сортов выпивка и закуска.

Кругом пьют — и не убывает. Мужчины и женщины вместе; одна компания ладит песню; в другой компании, тыча друг в друга кулаками, пытаются разрешить какой-то спор; некоторые подзывают к себе женщин из-за дру-

гих столов. Вот один из них усадил красотку себе на колени, вторую красотку — рядом с собой и, закинув ее руку на свое плечо, чокается стаканом.

Слепой гармонист в углу, проливая в эту духоту мелодию какой-то необузданной тоски, жмет на клапаны, разворачивает плечи.

Трое сели за стол. Хозяин подал знак женщине. Мгновенно появилась тарелка соленого миндаля, шесть бутылок пива и три стакана. Хозяин сам начал разливать.

— Душа моя, Самад, пойми, да, в делах — застои. Не годится наверху счетами-расчетами хорошего гостя тревожить, кунака обижать.

— Да кто твой кунак-то, ага?

— Проезжий богач. Кучу ташкентских денег загреб. Теперь в карты играет. Ошибиться нельзя. Давай говори, чего желаешь?

— Ага, вот это вот — брат мой Палван. Сам он — кокандский. Гость. Исключительно ради меня приехал.

— Не ради тебя, растяпа. Скажи, на кураш. Скажи, противник Ахмед-палвана в борьбе.

— Противник Ахмед-палвана. Сам он ходит в джигитах этого, знаешь, кокандского заводчика Гани-байбачи. Вот так. Я ему должен оказать честь. Честь, ага, понимаешь — честь!

— Говори, душа моя, говори.

— А для оказания чести нет денег. Подавай, значит, денежки. Вот тогда, — взглянув на хозяина, Самад подмигнул, — я снова к твоим услугам. Только имей в виду, — он поднял большой палец, — вот такую подыскал! Положишь тысячу целковых, ага! Копейкой меньше — и ходи своей дорогой, ага, весь сказ!

— Где горы, растяпа, а где бараны... — заметил Палван.

— Говори, говори, душа моя, кто такая, откуда она? Девушка? Женщина?

— Приедет — узнаешь. Самое большее через неделю. Монету гони, ага, монету.

— Ай молодец, Самад, все мое — твое, сколько желаешь — пожалуйста, — хозяин копнул в кармане брюк и, вытащив две скомканные бумажки по двадцать пять целковых, протянул Самаду.

— И одной хватит растяпе, бросит же на ветер, приятель...

— Ага, если, значит, без твоих-моих, — требуется ока-

зять честь — сделай сегодня удовольствие моему другу. Прикажи во дворец — пусть окажут честь.

— Все, Самад, ай живи, пожалуйста, пожалуйста!

Хозяин осклабился и одобрительно потрепал Самада по плечу. Вскинув стакан с пивом, он поднялся с места.

— Самад, душа моя, допивай пиво и веди Палвана во дворец, а я проведу верхних.

Покинув Самада и Палвана, хозяин отправился наверх.

Самад без конца хвастал перед Палваном собственным молодечеством, уверял, что все на Пойкаваке получили от него свое. За болтовней не забывали сдвигать стаканы с пивом, пили...

Свечерело. С тех пор как Самад с приятелем засели за стол, кругом них трижды сменились гости. А на столе выстроилось то ли двадцать, то ли тридцать порожних бутылок.

Палван, уместив голову на сгибе левой руки, впал в дрему.

Самад выдул в одиночку последний стакан пива и, поднявшись с места, хлопнул Палвана по загорбку.

— Палван, — сказал он, — поднимайтесь, вечер уже. Вставайте, Палван, к девочкам пора, во дворец. Нынче — день облегченья, вставайте, Палван.

Палван поднял голову и вперил покрасневшие глаза в Самада.

— Во дворец, к Холдархон? Давай, двинулись, растяпа!

Подпирая друг друга, они вышли по второму выходу из подвала — и очутились на улице. Пересекли ее, направляясь к ограде на той стороне. Здесь их поджидал, сидя на крытой овчиной приступочке, дворцовый привратник, а вернее сказать — зазывала, скликающий «гостей».

— С прибытием, Самад-щеголек!

— Как твои красотки — все во дворце?

— Все целехоньки, ждут не дождутся свиданьца с вами.

— Эй, Самад, что это он плетет, что за «свиданьце», с кем, растяпа, шутки шутит? Свернуть ему голову под мышки?

— Не надо, Палван, не надо: свой шалопай, ему и пошутить можно.

Они прошли во внутренние покои дворца.

Публичные дома на Пойкаваке, один из которых осклабили друзья, подразделялись на три категории. Первая называлась номерами и состояла из отдельных комна-

тушек, обставленных на европейский лад. Здесь обретал пристанище странствующий люд из других городов, а также вожделеющая развлечений на один вечерок городская знать и бай. Женщины, вино, карты — что изволят — было к их услугам.

Вторая категория представляла собой пивной зал, в котором побывали друзья. Сюда заворачивали те, кто искал кратковременной «передышки» от житейских забот. И для них имелась в избытке выпивка и прочее. А взывает сердце... находился и укромный уголок.

Третья категория олицетворяла Восток и состояла из большого дворца, разделенного на вереницу обособленных келий. В сторонке размещалась чайхана, а в кельях обитали женщины — по одной, по две в каждой. Комнатки свои они принаряжали как покои молодой невестки. Имелась тут дутары, танбуры, уставленные яствами дастарханы, а при надобности — и все разнообразие напитков. На каждые две-три кельи приходилось по одной прислужнице. (Молодые годы прислужницы проводили в кельях, а состарясь и утратив привлекательность, получали здесь же другую работу.) Имелся еще смотритель и прочий персонал.

Наряду с купчиками-байбачами из красных рядов, сапожных лавок, галантерейных ларьков, тянулись сюда в гости и молодые ремесленники, которые всю неделю, орудуя шилом и сапожной иглой, копили в кошельке скудные заработки.

Самада с приятелем пообочь двора встретила Шафоат-прислужница.

— Иди, иди, Самадджан, долговязенький наш. Каким тебя ветром занесло? Как раз и племянницы твои зароптали, мол, подай нам дядюшку: соскучились — помираем.

— Дядюшка... ха-ха-ха... ай да растяпа! — сказал Палван.

Самад выпятил грудь и напустил на лицо значительность.

— Тетушка, — сказал он, — у Путты свободно?

— Да нет, долговязенький, только что гость вошел, не скоро освободится.

— А у Холдар?

— А ей нездоровится. Вся в жару, что твой пашлык. И перхает. Прошлой ночью негодяй смотритель уложил-таки меня вместе с нею. Приказ, говорит, хозяина таков. Тысячу раз пожалела-раскаялась, что согласилась. Как начнет потеть, как начнет потеть! Вся постель мокрая, са-

ма бредит: погубили, говорит, мою жизнь молодую, бесстыжие. Сил, говорит, не осталось. Ах, говорит, были бы руки мои сильны, как у тигра, растерзала бы на клочки и хозяйина, и дядюшек, и тетюшек, — всех! Плюется. А утром гляжу — слюна-то с кровью попадаю. Как бы вовсе не померла. В конце-то концов, Самад, дорогой, могли бы лекарю какому показать. Подсказал бы хозяину, миленький!

— Тебя, что ли, хочет растерзать эта растяпа? Кто же она такая?

— Помрет — одной обжорой и модницей меньше, всего делов, тетюшка. Ну-ка, говорите, у кого свободно?

— У Саодат и Лютфи, проходите, пожалуйста, миленькие.

Друзья вдвоем проследовали в угловую, среднего убранства келейку. А за ними, — не прошло и десяти минут, — нагрузив чайханщика множеством бутылок, просеменила и сама тетюшка Шафоат.

* * *

Миновало около месяца. На Пойкаваке по-прежнему оживленно. Ни тебе благонравия, ни чинности...

Огурцы в плоских корзинах, точно красотки с подведенными зеленой усмьей бровями, возбуждают аппетит. Топорщится зеленый лук. Кинза и райхан — жертвенный дар поздней весны — побуждают к щедрости поклонников мяса и знатоков шурпы.

Вот уже несколько дней как в чрезвычайных приготовлениях Ташкент дожидается кого-то. Почти ежедневно Камиль-десятский, Сахиб-сотский и даже сам Мочалов, обходя кварталы вокруг Чор-су, вразумляют мусульман.

Всюду — от молочного базара до галантерейных порядков, далее — от сладкого рынка до больших рядов, от еврейских лавочек до обувных магазинов, от Джонгоха до Ходры — идет дружная приборка. Торговый люд в меру сил и возможностей приукрасил свои лавчонки, и посреди каждой — величаво, как на пятничной молитве — восседает сам владелец.

Среди сторожей — тоже невиданное раньше оживление: с утра до вечера, дважды и трижды, поливают водой дорожки, не расставаясь с дворницкой метлой. Сдается, что у аксакалов рядов, маклеров и торговых старшин выросло еще по паре ног.

На каждый чих — по десять здравствуй.

В махаллях — столпотворение. Эликбаши и квартальный имам мечутся, точно ошпаренные куры. Ходят из дома в дом, лишая покоя «черный» люд. То двор приберут, то улицу подметят, то помойку выскребу до блеска, — за приказом приказ.

Парадные входы мечетей и макушки минаретов, словно детские тюбетейки с полосатым перышком филина, — увешаны полосатыми флагами.

Хотя нигде и не пахнет «каникулами» либо праздничным угощением, мулла Шашкал распустил по домам мелюзгу из своей «величальной команды», наказав, чтобы на завтра явились чуть свет в лучшем выходном платье. А десять не то пятнадцать «грамотеев» повидней, оглашая общежитие, задалбливают «хвалу».

Привет тебе, светлый властитель,
Всевышним дарованный нам...

В новом городе — подобная же суматоха и беготня. Повсюду вывешаны бело-сине-красные полосатые флаги. Улицы и переулки вылизаны до лоска. Здешние купцы в свою очередь приукрасили лавки и магазины в русском стиле. Не стало повседневной торговли с рук, которая шумно разливалась по обочинам улиц. Выдворены вон носильщики, ремесленники и толкущаяся на базарах в чаянии заработка прищипая деревенщина. По центральным улицам закрыт конный и гужевой проезд.

На вокзальной площади, от Саларского моста до Сифона, разостлана шелковая дорожка. Сам вокзал, снаружи и внутри, в первом и втором классе, со стороны подъездных платформ, вплоть до потолков убран красными текинскими коврами. Двери увешаны флагами, щитами и мечами, барельефом двуглавого орла, крестом и полумесяцем со звездой.

Ни единого постороннего поезда станция не принимает. Иногородние составы, будь то пассажирские, будь то товарные, следуют до Атчапара либо Чильдухтарон и разгружаются там.

В городе ощущается настороженность и некая тяжелая торжественность.

Лишь одна улица — известная улица — не ведает об этих приготовлениях. Там — ни чинности, ни торжественности, — напротив, там не перестают царить распутный хохот, охальные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли.

Ишан Валиходжа ехал в пролетке, запряженной парой

вороных рысаков, и раскланивался с лавочниками, высыпавшими по обе стороны улицы. На плечах его был халат из бухарского бекасама, на голове — афганская шелковая чалма цвета сурьмы; ворот синего бархатного камзола был набит белым картоном и там, где края его сходились, вместо пуговицы сверкал рубиновый крест в золотой оправе. Это был знак почетного гражданина, пожалованный Валиходже правительством Николая — в признание целого ряда услуг.

С величавой сдержанностью он остановил пролетку прямо перед номерами «Касым» и, обращаясь к некоему унтер-офицеру, отдающему ему честь, заговорил по-русски:

— Его величество прибудет завтра на вокзал, видимо, часам к трем. Есть ли на сей счет особые распоряжения от господина губернатора?

— Так точно, ваше благородие! Их высокопревосходительство приказали через адъютанта, чтобы я самолично оповестил об этом казнев и приставов старого и нового города.

— Должно быть, вы уже сообщили?

— Так точно, ваше благородие!

Ишан Валиходжа ткнул в спину своего кучера. Коляска тронулась и покатилась по Ирджарской улице к номерам «Тухтаджанбай». Ишан Валиходжа вылез из пролетки, приказал кучеру ждать и, преодолев множество ступенек, поднялся наверх. Он начал вызывать по телефону особняк князя Саидрахима:

— Я — Валиходжа. Дома ли Саидрахим?

— С вами говорит сам Саидрахим. Здравствуйте, чем могу служить?

— А, вы сами? Очень хорошо, Саидрахим, вы, наверно, осведомлены, что завтра его величество прибывает на Ташкентский вокзал. Стало известно, что господин губернатор уже направил чрезвычайные распоряжения казиям и приставам.

— Верно, таксыр, распоряжения сделаны. Приватным образом он сообщил мне по телефону.

— И что вы предприняли?

— Теряюсь, таксыр. Во всяком случае, нам с вами следовало бы предпринять приватные приготовления для встречи их величества.

— Именно. Того ради я и потревожил вас. С чего начать? Перво-наперво, я слышал, будто на вокзале не хватает иных вещей, вроде циновок, ковров. Надо сказать,

чтобы Бадалмат-думский и Бакиджан-бай все домашние ковры вынесли на вокзал. Циновки, думаю, найдутся и у вас.

— Найдутся. Проверим еще и других толстосумов, таксыр. Сейчас я послал человека к Иноятходже. Должно быть, скоро вернется. Пошлю и к другим.

— К Иноятходже? Хорошо сделали. Передайте ему — пусть возле вокзала поставит с десяток казанов. Следует устроить угощение для солдат, для учеников и учителей, пришедших из города. Словом, поручите ему возглавить это дело.

— Слушаю. А вы сами не могли бы послать человека к Юсуфу Давидову?

— Зачем это?

— Да по поводу кухонной утвари.

— Хорошо. Да, кстати, Саидрахим, за вами еще одно дело.

— Слушаю, таксыр.

— Сообщите Зарифходже-казню, что наведение порядка среди мулл, имамов, учеников медресе и прочего люда, пришедшего из города, возлагается на него. Пусть будет начеку, чтобы люди были в новой одежде и выглядели опрятно. Пусть отеснит и не пускает в ряды всякую мелкоту и рвань, все это простонародье в драных халатах, ибо предстоящее — не раздача святой пищи из мечети.

— Всенепременно, таксыр!

— Махмуду-карнайчи надобно поручить, чтобы собрал лучших музыкантов с сурнаями и карнаями, дабы они с утра уже отправились на вокзал и были наготове.

— Да он и сам любит подобные дела, таксыр, лишь бы что-либо возглавить.

— Ну, теперь поговорим о нас с вами, Саидрахим. Надо бы светлейшему эмиру подарок повиднее поднести, что будем делать?

— Вам лучше знать, таксыр. Где остановится их светлость?

— У меня, конечно.

— Нет уж, таксыр, я попрошу вас, пусть на сей раз будет моим гостем, на обратном пути — вашим.

— Не пойдет.

— Ну, я вас прошу, таксыр!

— Ну ладно, Саидрахим, ни у вас и ни у меня. Поведем в номера — будет гостем обоих.

— Так меня устраивает, таксыр.

— Каков же все-таки ваш подарок, Саидрахим?

- А ваш?
- Я на всякий случай заказал на один день цирковых балерин. Затем... Ну, остальное позже узнаете.
- Если говорить о моем... полагаю, что-нибудь подвернется, таксыр.
- Саидрахим, нынче вечером вы свободны?
- Свободен, таксыр, лишь эти приготовления — и все.
- Значит, приезжайте в номера «Лондон», в 32-ю комнату.
- И Юпатова будет, а, таксыр?
- Вы тоже приводите свою. Муравьянц, проездом из России в Бухару за каракулем, надумал переночевать в пути. Идет игра в девятку и двадцать одно.
- Валиходжа, терпеть не могу этого вашего Муравьянца. Не найдется ли способа ободрать его вконец?
- Сорок процентов — мне.
- Двадцать пять.
- Ладно, вы приезжайте, буду держать вашу руку — тридцать процентов выигрыша моих, остальное — ваше.
- Договорились.
- Прощайте, жду.
- Прощайте.

* * *

Зеленые отроги Зааминских гор, простершиеся до необозримых далей травостой, — от века являются благодатным пастбищем для скотоводов.

Это мир ветровых долин, где день опрыснут росой, а ночь чиста и прозрачна. Здесь вечерами, на крутых склонах, призывное блеянье баранов сшибается с криком хозяина вершин — ястреба-тетеревиатника. Здесь, чем выше поднимаешься, тем шире становится круг обозримого мира. У горножителей всегда широкие горизонты. А внизу раскинулись Кызылкумы, западные выступы Мирзачуля, преданный гневу солнца город Джизак, крепости, поселки, кишлаки. А там, куда и птица не долетит, — высится купол святейшего Абдуллы и сардоба Музаффархана.

Каждый звук, каждый вздох, каждая песнь, поднимающаяся отсюда, печально отражается от Зааминского хребта — собрата Гиндукушской гряды. Живые, как ртуть, горные потоки устремляются через Чаткал в чужедальные края. И слабое естество воды бьет камни о камни. Издревле так повелось, что из-за слабых бьются сильные. Родники, пробиваясь потайными путями, выливаются наружу,

присоединяются к Сырдарье. Спешат в объятия круглолицей красавицы далеких киргизских степей — Арала. На этом пути в три тысячи верст Сыр — буен, Сыр — нетерпелив. Он течет нахраписто, бежит всполошенно — все лишь ради Арала. И по пути не оглянется на Голодную стену, на солище и смерчи, на сотворенную из раскаленных песков меднокожую девушку, которая обнаженной стоит на берегу и готова вобрать всем телом тайную силу каждой капельки Сыра.

Но не может, крикнув свое «курр-эй», умчаться, подобно этим водам, в родные края чабан Абдурахман, кочующий с верблюдами в степях Сурхана. Он поет:

Я шел сюда, минуя перевалы,
И камни сапоги мне изорвали.
Я вольно жил в родном краю, а нынче
В чужбину гонит ханская опала.

Таковы протяжные, исполненные печали песни рабов, подобных Абдурахману, которые, не вынеся гнета и непосильных налогов эмира Алима, оставили свои захудалые хозяйства в Сурхане и Кашкадарье, оставили без отца семью и, в поисках работы, отправились в дальние края, закабалились за четыре козы в год у скотопромышленников-баев. Они в тоске поют об изгнании, которому их подвергли притеснения злого хана. Смотрят на весеннее небо, подернутое тучами, как лицо западной женщины — траурным флером. Заглядываются в озерца изумрудных родников, которые словно бы перекипают слезами, как глаза верблюжонка, отбившегося от каравана, и эта влага напоминает им слезы детей, тоскующих по отцу.

Бедняги, да разве есть они — добрые ханы? Сами не ведают — было ли когда так, чтобы лев проявил сострадание к газели, чтобы сокол высиживал голубиные яйца, чтобы щеглы свили гнездо в обиталище змеи прежде, чем раздавлена змея...

Внизу — Кызылкумы. Западные выступы Мирзачуля. Один из вечеров поздней осени; верхушки трав — подвяли; небо — в тучах.

Курьерский поезд, тронувшийся с тихой станции города Джизака, бежит отрогами Зааминских гор, направляясь к Хавасту, далее — к Ташкенту, а еще далее — в Москву и Петербург. Летит, оглашая безлюдные ветровые просторы степи пронзительным свистом и оставляя за собой клочья дыма. И в пугающей темноте ночи глаза его

сверкают парой кинжалов и приводят на память драконов старинных легенд.

В схожую с этой, но иную ночь в минувшем некий поэт был вынужден, гонимый тяготами жизни, пройти пешком через Мирзачуль, прежде чем вступить в Джизак. Вот что он рассказал об ужасах ночи:

Пересекал я в сумерки пески,
Меня сардобы купол приютил,
Что выспился один, как дух тоски,
И временем полуразрушен был.

В пустыне разве только тамариск
Усладой взора служит полчаса,
Покуда смерч, закрывши солища диск,
Не бросит горстью мусора в глаза.

И бросил он. И траур объял свет.
И молнии в меня внедрили страх.
Меж черных туч уже просвета нет,
И хлещет ливень в почерневший прах.

Весенний дождь. А я, как в снег, продрог.
И все мое добро — пустой хурджин.
И, скорчившись в пустыне без дорог,
Не чаю, как перемогусь один.

И мысли рвутся, предрекая глеч,
И мнится мне погибель каждый миг,
И синий подбородок меж колен
Уткнув, сижую, глотая взором мир.

И тут послышался издалека
Какой-то шум. И встрепенулся я,
Как будто, обжигая мне бока,
В меня втекла свинцовая струя.

Мгновенья не прошло, как клич «курр-ай»
Пустыню огласил и оживил:
На одинокий купол средь степей
Чабан свою отару выводил.

За тучами не разглядев Плеяд,
Не мог он сверить своего пути
И, в поисках ночлега, наугад
Сумел сардобу древнюю найти.

Когда бы тот поэт взглянул на поезд, который, подхватив путешествующего эмира Алима, мчится голыми степями, чтобы завтра к трем часам поспеть в Ташкент,— тогда бы поэт продолжил:

Невдалеке услышал грозный рык,
И тут во мне все оборвалось вдруг,
Как будто в пасть дракона я проник —
И рвут меня на части свист и стук.

Доподлинно — поезд являл собой дракона. Дракона, в котором едет скорпион, в котором едет эмир Алимхан.

Кабы и нам с вами выпала возможность проникнуть в гнездилище скорпиона, в пещеру дракона, чтобы обозреть их изнутри! Увы, этого нам не было дано. Будем же писать, следуя указаниям очевидцев.

Поезд, помимо паровоза, состоял из шести вагонов. Первый из них предназначен для самого эмира, двух-трех потаскух, трех-четырёх «мальчиков» и конвой, второй — для придворной челяди и личной стражи эмира, третий — для везиров, военачальников, духовных лиц и прочей знати, четвертый — ресторан, пятый — кухня, а шестой отведен под необходимый багаж.

Вагон эмира выкрашен целиком в зеленый цвет; снаружи, с обеих сторон, — надпись золотом «Ля иляхи...», а внутри — мир роскоши. Под ногами мягкие паласы, отменные шелковые ковры. На окнах — поверх шелковых шторок бархатные занавески. Дверные и оконные ручки — из серебра с позолотой. Здесь с первого же шага охватывает оторопь. Настенные ковры, бархат, тисненый золотом. Кругом — большие толстые зеркала, широкие перины и кровати с подушками. Великолепная мягкая мебель. Посредине — круглый китайский столик красного дерева, инкрустированный слоновой костью; на нем — настольная электрическая лампа с золотой подставкой, мраморным цоколем и фарфоровым абажуром. Всюду разбросаны коробки шоколада, бутылки из-под шампанского, бокалы; на стенных крюках висят — эмирская сабля, кушак, чалма, халат и прочее. На пуховом диване, охватив рукой талию любовницы, сидит сам эмир Алимхан... Эмир одет в белую шелковую рубашку с открытым воротом, в белую тюбетейку со сборками по краям. Женщина капризничает... Эмир поднимается с места и нажимает кнопку на столе. В дверь купе негромко стучат.

— Биёед¹ (Войдите)!

В дверь проскальзывает подросток из челяди, кланяется, согнувшись пополам.

— Ба мо каймок биёред, каймок мехурем (Принесите нам сливок, мы будем есть сливки).

Подросток, семизды поцеловав руки, прикладывает их к вискам, затем — к груди, пятится с тысячью ужимок и выскакивает из купе.

Что делать?! Поезд в пути. До Хаваста еще не близко. И нет в пути полустанка, чтобы дать телеграмму в Хаваст. При выезде из Бухары, готовя дорожные припасы, предусмотрели все на свете — от мяса кекликов до казанов-мантышниц, от пива и коньяков до пасвая, — словом, все, что можно есть, пить, чем можно насладиться, — захватили с собой, только вот о сливках — забыли. И хотя на кухне дожидалось по меньшей мере двадцать вкуснейших блюд, «их величество» пожелали сливок.

Прислужник очутился меж двух огней. Найти сливки или принять смерть! Немыслимо — не удовлетворить желание эмира. В вагоне для челяди и придворных поднялась паника. В конце концов порешили добраться до машиниста паровоза, дабы остановился на каком-либо разъезде.

Два человека, немного изъясняющихся по-русски, пошли через весь состав к переднему вагону и принялись звать машиниста. Перебраться на паровоз было невозможно. Помощник машиниста, услышав неожиданные вопли, испуганно выглянул из паровоза. Он решил, что какой-нибудь раззява слуга или мулла, совершающий омовение, свалился на рельсы. Начались расспросы.

— Чего надо?

— На следующем разъезде остановились бы ненадолго.

— Зачем это?

— Мы позвоним в Хаваст по телефону.

— О чем?

— Чтобы приготовили чашку сливок для светлейшего эмира.

Помощник машиниста рассвирепел:

— Идите к черту с вашим эмиром!

Паровоз все бежал. Вот и он, словно помощник машиниста, исторг из глубины сердца крик, подал сигнальный гудок. Следовательно, близок разъезд. Движение паровоза замедлилось. Машинист было поклялся не остано-

¹ Эмир изъясняется по-таджикски (прим. перев.).

ливать паровоз... однако... ему пришлось пока умерить свою решимость.

Он чувствовал: близятся такие разъезды эпохи, когда не эмиры, ханы, хаканы будут решать — остановиться или нет, когда это будет зависеть от его, простого машиниста, волеизъявления.

Он чувствовал: на этом разъезде, где нынче приходится остановиться ради чашки сливок, остановится и поезд грядущего. И с него тоже позвонят. В Бухару протелефонят. И речь уже пойдет не о сливках. От имени трудового, униженного и оскорбленного люда, в расплату за безмерное распутство потребуют у эмира чашу крови!

Он чувствовал: в один из светлых дней грядущего будут телефонить с этого разъезда. И уже не ради улыбки похотливого рта, осененного грязной короной, а прозвонят грозный сигнал от пролетариата Севера — к трудящимся Востока.

Но на сей раз машинист — временно — был вынужден притормозить. На разъезде он остановился...

Из вагона вместе со слугами спустились двое в длинных халатах и побежали к будке стрелочника...

...Поезд прибыл в Хаваст в половине девятого утра. Как и на предыдущих станциях, в Хавасте тоже вывешен полосатый флаг. Начальник станции, городовые, агенты охранного отделения, волостные из окрестных кишлаков, имамы, — все, принарядившись, явились на сей смотр.

Начальник станции взял в руки поднос, поставил на блюдо с хлебом-солью мисочку отменно густых сливок и с поклоном подошел к двери вагона, несущего надписи «Ля иляхи...» Однако эмир еще почивал и не ведал о прибытии на станцию. К встречающим вышли придворные чиновники и челядь. Приняли сливки. Поезд, недолго постояв, тронулся.

Когда эмир поднялся с постели и наступила пора чая, сливки были наготове. Однако эмир утратил аппетит и на сливки даже не взглянул.

— Мо каймоқ намехурем (Мы не хотим есть сливок), — бросил он коротко, тем самым сведя на нет все труды прислуги.

Поезд несся скорей и скорей. Сегодня к трем часам он должен прибыть на ташкентский вокзал. Эмир пожелал провести там ночь, повидаться с генерал-губернатором Туркестанского края и ташкентской знатью.

Ташкентцы, в свою очередь, с нетерпением ожидали его...

II

Большое андижанское медресе.

Короткие дни поздней осени. Предзакатное солнце бросает последние бессильные взгляды, оповещая о близости сумерек. В небесах, печально отороченных багрянцем, неподвижно стынут клочковатые облака.

На вершине минарета, отбрасывающего тень вдвое длиннее себя, старик-суфи — с лицом, иссеченным преданьями старины, с поясницей, преломленной тяготами жизни, с подслеповатыми глазами — дожидается захода солнца и прочищает горло, готовясь прокричать азан.

Во дворе медресе, занятые всяк своим, спуют табунки учащихся — в плотно намотанных чалмах из белой кисеи и полотняных халатах-яктаках. Иные — на срединной суффе — просто ожидают намаза, иные возле своих келий готовят ужин, иные, кинув на плечо платок для вытирания, заняты омовением из хауза под вязом.

Это — «светочи знаний» будущих времен. Ожидается, что в будущем они станут знатоками мусульманского права, муфтиями, хранителями шариата, преподавателями духовных школ.

Многие, кто, взыскуя знаний, приходил из различных городов Туркестана и прозябал десяток лет в медресе, становились в конце концов имамами в мечети какой-либо подходящей махалли. Все эти ученики разных возрастов, что трудятся в поте лица и не решаются вскинуть голову в тиши, думают обрести честь и достоинство «на сем и на том» свете. Все они думают стать неким сильным «предводителем» для «простого» люда.

Жизнь, кипящая счастьем и богатством, — остается для них мечтой.

Лишь осенний ветер заносчив. Он безумец. Он живет настоящим моментом. Его счастье — это осыпавшаяся желтая листва плакучих ив, тополей и платанов. Он принимает палый лист за золотые монеты. Он катает их, играя. Сгребает то в один, то в другой угол медресе, пытается припрятать. Никому не доверяет. Вновь и вновь взметаёт, раскружив, весь мусор во дворе. А на портале медресе разгуливает, воркуя, стайка горлинок. Они постоянно живут здесь над головами людей, всего-то им нужно горстку дарового зерна из заготовленных припасов.

Спросите у них самих.

Когда бы горлинки обрели речь, они бы сказали: «Мы

поем бескорыстно для людей, мы им доставляем удовольствие своим пеннем».

Суфи, возгласив азан рыдающим, безысходным, как остаток своей жизни, голосом, призвал к тишине присутствующих в медресе. Протяжная эта мелодия тяжелой грустью вливалась в сердца слушающих.

С окончанием азана люди по одному, по двое потянулись в молельню, разместились рядами.

Несколько раз простерлись ниц, преклонили колени, сели. Вставши, отвесили поклон. Была прочтена фатыха. Один из пареньков старушечьим печальным голоском возгласил нараспев тексты из корана. Вновь прочли фатыху. Вслед за фатыхой мулла-наставник призвал вновь воздеть руки — для молитвы-благопожелания. Было испрошено у всевышнего исцеленье для некоего богатея, долгое время страждущего пеллагрой, — и напоследок имам, поднявшись к алтарю, начал хутбу — пятничную проповедь.

По завершении хутбы он обратился с речью к воспитанникам, заполнявшим молельню:

— Чада мои, дети народа моего!

В божьем слове сказано, что цари есть тень божья на земле. Любое предписание царя есть закон. Хотя наш светлейший царь и является иноверцем, наша обязанность — верой и правдой служить его величеству, жить в мире и покое, сохраняя порядок, и во время каждого из пяти ежедневных намазов творить молитву о здравии его высочайшей особы.

Достаток всякого человека — от всевышнего. Посему следует уважать людей состоятельных и, поскольку от них вкушаем хлеб-соль, надлежит воздавать им за это по правилу: кланяться сорок дней тому, чьим хлебом питался хотя бы день; надлежит неуклонно следовать приказам их и повелениям, чтобы удовлетворить первоначально — бога, во-вторых — царское величество, в-третьих — наставников, подобных нам.

Очень правильно сказано вероучителями: как из маша не получится плов, так не будет правителем куча рабов. Вам хорошо и премного известно, как в кишлаке Мингтепа объявился некий вор и нечестивец и стал притязать на звание ишана. Собрав вокруг себя толпу босоногих приверженцев, соблазняя их чужеземной ересью и творя бесовские наваждения, которые нарек чудом, он поднял мятеж. И был изболжен прозорливым оком белого царя. Каковы же были последствия, дети мои? И то ска-

зять, он, господин белый царь, пощадил своих подданных. Ведь было в полной его власти и в доброй его воле открыть огонь из пушек по всей Ферганской юдоли, всех нас поголовно стереть с лица земли. Однако их величество не поддастся необузданному гневу, удовлетворяясь одним лишь кишлаком Мингтепа, разгромленным из пушек, и несколькими сотнями невымытых рож, преданных истреблению.

Скажите-ка, чада мои, разве же это не милосердие к таким подданным, как мы? И еще следует быть благодарными за то, что охранительным заслоном над нами предстали несколько сердобольных богачей, хлопкопромышленников и заводчиков. Это их прощеньями мы остались невредимы.

А посему — не забудемте же ни на мгновение о добродетельной службе им и господину белому царю.

Вы, чада мои, станете поводырями народа, обратитесь же и вы с увещанием к сей грешной черни, дабы исполнился ваш долг. Омин...— сказал имам и закончил речь длинным-предлинным благословением. Воспитанники неторопливо потянулись из молельни и разошлись по кельям.

Эта речь приходится на второй месяц мятежа Дукчи-ишана, поднятого против правительства Николая, и была произнесена после того, как карательные отряды царя восстановили «порядок» среди народа.

Мятеж Дукчи-ишана не опирался ни на какую революционную идею. Он представлял собой чисто религиозное выступление. Но и при том царская Россия и местная знать были весьма напуганы им. В результате он был раздавлен, как муха, попавшая меж лап самодержавной России и когтей местной знати.

Оставив подлинную оценку миновавших событий нашим историкам, приводим здесь сатирическое стихотворение поэта-демократа Завки, посвященное мятежу Дукчи-ишана.

Сатира Завки на ишана Игчи

Людей напрасно всполошив,
принес ты много бед, ишан.
Но благо — самого тебя
беда свела на нет, ишан.

Невежеством рожденный бес,
на плаху ты людей повел,

Ты остерегся бы сего,
коль знал ученья свет, ишан.

Кто правом наделил тебя —
на благочестье прптязать.
Коль даже шарпат тебе
неведом как завет, ишан?

Ты сверхъестественным путем
варил похлебку без огня
И пестроту «чудес» творил —
одну другой вослед, ишан.

И вспоминает, как кошмар,
твои тенета Фергана:
Здесь каждому принес урон
ты в тысячу монет, ишан.

Ты свару круто заварил,
народу расхлебать пришлось,
Ты рвал плоды, садовник вновь
за все держал ответ, ишан.

Тщеславьем вызванный удар
не одного тебя сразил.
Ты породил чуму окрест,
как довершенье бед, ишан.

Погапой сущностью своей
навлек удар на Мингтена,
И там от тысячи дворов —
лишь непелища след, ишан.

Убито сколько, пленено.
Царя кровавый приговор
На совести твоей лежит,
как подлеца навет, ишан.

Не излови Кадыркули
и не повесь тебя, — сейчас
Себя ровнял бы ты с Махди,
приняв святой обет, ишан.

Ты ради чуда вздул пожар,
поставив ереси очаг.

Меж иноверцами — и то
не много сих примет, ишан.

От нечестивых дел твоих
в руинах Мингтепа лежит,
Потоки дыма, что ни шаг,
пятнают белый свет, ишан.

Попав из собственной пращи
себе и в голову, и в зад,
Ты умер, смерть другим неся,
нечистый, как запрет, ишан.

И воздаяние приняв
за смерть, побойща и кровь,
Спеши-ка в ад, и там гори
до окончанья лет, ишан.

В стяжательстве непревзойден,
гнилой снаружи и внутри,
Вороной пестрой ты клевал
гниющий свой обед, ишан.

Коль станет кто о Фергане,
о беспорядках вопрошать,
Завки ответит, что гнусней,
чем ты, в преданьях нет, ишан.

Это стихотворение поэта Убайдуллы Завки принадлежит к числу хороших стихов того времени, посвященных известным беспорядкам, вызванным неуместными потугами религиозного фанатизма.

Поэт в те годы был еще молод, да, пожалуй, и поэтическое мастерство его было недостаточным, чтобы проанализировать этот «натиск и газават».

Сильное воздействие на преобладающие настроения молодого поэта Завки произвели несчастья, обрушившиеся на народ Ферганы после событий, связанных с Дукчи-ишаном, расстрел из пушек — прямой наводкой — кишлака Мингтепа и прилежащих кишлаков, разрушение всех домов и подворий в этих селеньях, истребление тьмы народа, угон на виселицу ни в чем не повинных людей, обвиненных в приверженности ишану; скитанья из кишлака в кишлак в поисках крова и пропитания сирот, оставшихся без родителей; а сверх того — возложенные царской ад-

министрацией на плечи народа непосильно тяжкие военные налоги. Ведь в эти годы Завки был всего-навсего бедным ремесленником, шьющим детские ичиги.

В стихотворении весь гнев, накопивший в сердце униженного народа, Завки совершенно справедливо обрушивает на зачинщика «священной войны» невежественного, бездарного, фанатичного и вероломного Дукчи-ишана.

Достоин внимания, что и многие другие прогрессивные поэты-демократы того времени придерживались отрицательного мнения о Дукчи-ишане. Например, Муками в своем известном сатирическом стихотворении «Негодяй» говорит:

Хоть пополам его разрежь —
ума ни капли не найдешь,
Но скажут, глядя на чалму:
«Большой ученый, негодяй».
Похитивши, с овечьих туш
он обдирает курдюки,
И отправляет в Мингтепа
весь жир копченный, негодяй.
Звать негодяем нелегко
иного изо всех живых,
Меж негодяев он один —
непревзойденный негодяй.

Между тем, эта сатира Муками, являющаяся правдивой характеристикой ишана, была создана за много лет до беспорядков. Кроме этих двух поэтов высмеивали ишана во множестве стихов — Мухайир, Нисбати, Улфат и другие. Однако целостностью в показе исторических событий сатира Завки возвышается над иными.

Среди преданных виселице находился и батрак хлопкопромышленника — бая Умурзака из кишлака Мингтепа — правоверный Маманияз. Наряду с другими и его хижину поглотили жерла пушек, немногий скарб был разграблен, семья — разорена и выброшена на улицу.

Не находя пристанища, люди странствовали из города в город, кто в арбе, кто пешком, странствовали, не видя цели и обетованного места.

Толпа беженцев на дороге Коканд — Андижан при-

хватила с собой отбившуюся от семьи сиротку — верблюжонок, отставшего от каравана, ягненка, потерявшего отару.

Это была десятилетняя дочь Маманияза-ака — Нетай, его любимица с капитановыми косичками, его черноокий жеребенок.

Беженцы вступили в Коканд. Решив, что в такую тяжкую годину, когда свои-то дети в тягость, кормить ради благостыни сироту — не благо, они бросили Нетай на произвол судьбы в незнакомом городе, предоставив ей идти, обливаясь кровавыми слезами, в объятия кровавых сумерек.

Коканд был городом оживленным и кичливым.

Почитай, все толстосумы Туркестана открыли здесь свои отделения; торговыми рядами вытянулись большие магазины; банки, номера, хлопкоочистительные заводы; баи, приказчики, маклеры, — все так и норовят поглотить бедного человека.

Коканд — это золотая пучина, где плавают корабли конкуренции. Суденышки помельче здесь погибают, втянутые в водоворот. Волны его — лижут берега, подмывают жилища, засасывают окружающих, и те захлебываются, барахтаясь. Они становятся добычей круговерти, чтобы другие могли сесть и закинуть удочку в глубь бездны.

В этот водоворот и угодила Нетай. Пред неохватной воронкой она была беспомощна, как одинокий желтый листик. Она барахталась, раскинув обессиленные руки.

Нетай долго бродила в растерянности и протянула свою детскую ладошку, обращаясь к милости «щедрых», к их состраданью.

— Проказница, — сказали байские сынки.

Подмигнули друг другу.

— Еще зеленовата, — сказали баи, повидавшие жизнь.

— Бог подаст, — сказали баи, повидавшие жизнь.

Не зная, куда идти и куда приткнуться, Нетай пробродила до позднего вечера. Не в теплых материнских объятиях, не на жесткой, но милосердной подстилке бедного отцовского дома, даже не у людей с каменным сердцем, а на камнях торговой столицы дьявольски бессердечных туркестанских баев, в самом средоточии этой столицы — на кирпичном мосту, в уголочке, свободном от прохожих, она смежила усталые глаза. Обнявши маленькие ноги, разбитые долгим хождением, она забылась безгрешным сном.

Она пребывала где-то между страхом и надеждой, между сном и явью, между прозреньем и отупеньем.

Утром ее разбудили словами непонятного языка. Она очнулась не там, где заночевала вчера, а в каком-то другом месте. Разбудила ее, поглаживая и похлопывая, русоволосая женщина. Почему ласкала — непонятно. Взяв за руку, повела в уголок тесной каморки и умыла из жестяного умывальника, который был прибит к стене и носик у которого торчал снизу. После чего, придвинув стул для Нетай к высокому столу, подала в стакане чай с молоком и, хотя и черный, но вкусный хлеб. «Ашай, ашай, кизимка, хорошая кизимка, моя кизимка...» — говорила женщина. Нетай ощущала, как от нее веет лаской и чем-то материнским, только не совсем понимала ее. Однако эта русоволосая женщина не была матерью Нетай, а лишь старалась утешить как мать.

Нетай глядела, глядела на новообретенную маму и залилась горькими слезами. Тотчас же седобородый человек, который давеча сидел по ту сторону стола и поглядывал с жалостливой улыбкой на Нетай, делая знаки руками, мол, «ешь, ешь», вскочил с места, и вдвоем с русоволосой женщиной они захолопотали вокруг Нетай, успокаивая ее, подсовывая то кусочек сахара, то карамельку в бумажке с кисточками.

После чая мужчина поднялся из-за стола, натянул свои грубые сапоги, накиннул на плечи короткую тужурку, пропитанную черным-пречерным мазутом, нахлобучил на голову сильно изношенную шляпу и, вынув из кармана синий мешочек, что-то отсыпал и завернул в бумажку, сунул в рот, пыхнул дымом. И тогда Нетай поразило, что на правой руке этого человека — всего три пальца. Сунув руку под стол, сосчитала свои пальцы. У нее-то, у Нетай, было пять, почему же у этого человека — только три?

К тому же, не хватало большого и указательного пальцев. Долго возился человек, сворачивая закрутку. Нетай стало его жалко. Подойти да свернуть, подумала было она, но побоялась, что заругает. Седобородый, все еще стоя в комнате, говорил о чем-то женщине с русыми волосами, показал на Нетай. После этого он ушел.

Русоволосая заговаривала с Нетай, поглаживая ее по косичкам. Нетай тоже, с некоторым доверием, начала посмеиваться и иногда задавала женщине вопросы на своем языке, указывая на то или другое. Они закончили чаепитие. Женщина стала убирать со стола. Нетай, словно бы помогая, потащила следом стаканы и жестяной чайник.

Затем женщина развела огонь в высокой кирпичной плите и стала согреть воду. Когда вода сделалась горячей, она принесла железное корыто и раздела Нетай. Сначала Нетай застеснялась было, но женщина настояла на своем, искупала ее. Вымыла очень чисто, натирая мылом, затем подхватила из корыта, вытерла и, завернув Нетай в кусок холстины, усадила ее. Потом расчесала ей волосы и, взявши ножницы, подрезала косички. Тут Нетай снова заревела от обиды. «Бедные косички!..» — теперь друзья в кипляке будут звать Нетай плешивой девчонкой, мать увидит — заругает, — бедные косички... Русоволосая женщина снова что-то говорила ей, ласкала, продолжая свои хлопоты. Но стоило Нетай вспомнить о косичках, ее «горе» обретало новую силу. Наконец, женщина покончила с купаньем и стрижкой, уложила Нетай на кровать и покрыла ватным одеялом. Нетай повсхлипывала, повсхлипывала — и заснула... На сей-то раз сон ее был настоящим отдыхом.

Это была семья Семена — рабочего с кокадского хлопкоочистительного завода Гани-байбачи.

На заводе Гани-байбачи Семен работал машинистом «джина» — с месячным окладом в двадцать семь рублей. Женат он был лет двадцать пять, рождалось у них за это время двое детей — да померли, и муж с женой жили бедно и скудно. Заработок их с трудом покрывал ежедневные расходы. Как-то жена Семена тоже напаялась на сезон для починки мешков на заводе, но свалившаяся кипа хлопка повредила ей ногу, и с тех пор вся тяжесть заработков легла на плечи Семена.

Ежедневно Семен как уходил на работу в семь утра, так возвращался домой около часа ночи. Проходя в ту, памятную ночь, мимо западной оконечности кирпичного моста, он услышал какие-то шорохи. Пригляделся внимательней — что-то темнеет в уголке. Не спуская глаз с этой тени, скрутил махорку. Чиркнул спичкой и, освещивая ею, направился к тени, пригнулся.

Ребенок!

Зажег еще одну спичку, всмотрелся в лицо.

Маленькая девочка!

Попробовал потормозить — не проснулась.

Семен надолго задумался — что бы могло привести сюда ребенка, особенно малолетнюю девочку? Ему представилось: покуда эта крошка, не находя приюта, голодная и холодная, валяется здесь, там, в гостиных богачей, звучат пиршественные песни, в развратном воздухе роскошных ресторанов звенит золото, рассыпается кокетливый

смех расфранченных красоток, — и его передернуло, словно вздохнул глиловатый душок из цветника молодых кутил. Семен смотрел на девочку с состраданьем, смотрел даже с нежностью. В Семене просыпались несказанно сладостные отцовские чувства, которыми он оделял своих детей, пока те были живы, и которые увяли со смертью детей и стали постепенно забываться. Подлинно отцовские чувства к Нетай охватили его целиком. Он осторожно поднял девочку — и понес домой.

Жена его поначалу была раздосадована тем, что муж среди ночи явился с нежданым «дорогим гостем». Корила лишним грузом для семейного бюджета. Пыталась втолковать мужу, что девочка — мусульманка, и потому все едино, подросши, не станет как своя. Лишь твердость Семена в своих убеждениях смогла утихомирить жену. Дело не в русских, мусульманах, а надо суметь ее воспитать. «Всяк жеребенок свой родничок хвалит, сумеем воспитать — почище своей вырастет», — тем и убедил жену. И жена его («русоволосая женщина») с того момента взглянула на Нетай чисто по-матерински и облекла ее своей заботой.

Беспризорная Нетай с того дня, как приняла первый стакан чаю из рук новообретенной матери, стала Наташей — членом новой любящей семьи. Семен начал воспитывать Наташу как свою дочь. Нетай тоже в скором времени привыкла к обычаям и привычкам новых родителей, прежние языковые недоразумения постепенно исчезали и утверждалось полное согласие. Ее молодой и гибкий, как прутик, разум быстро вбирал в себя все новое. Не прошло и девяти месяцев, как Нетай начала довольно сносно говорить по-русски. Папа Семен отвел ее в русско-туземную школу и записал как Наташу Семенову. Так, воспитываясь в школе и дома, она подрастала.

Четырежды успели созреть дыни, четырежды поля, поглотив хлопковые семечки, вернули их хлопковым цветком. И на заводе Гани-байбачи четырежды припимали хлопок, и четыре напряженных сезона отработали машины. Капиталы Гани-байбачи четырежды приносили (за редким исключением) все более высокие прибыли.

В свою очередь Нетай, в четвертый раз — считая с последними — сдавши экзамены, окончила начальную школу и превратилась в совершенно русскую девочку.

Миновало еще более года. За неполных шесть лет, прошедших с того дня, как Нетай очутилась в новой семье, и Семен, и ее мать заметно состарились. Особенно

подался Семен, который уже не мог ослабевшим зрением уследить за мелкими деталями станка и однажды уже был оштрафован на сорок три рубля за сломанный гребень и, со дня на день слабея, теряя нажитую у хозяев славу умельца, он тревожился, что его не сегодня — завтра прогонят с завода.

Однажды вечером весовщик завода решил задать пир по случаю рождения ребенка. Наряду с гостями был приглашен и старый Семен, с тем, чтобы похлопотал по хозяйству. Помощь его впрямь пригодилась на столь большом торжестве. В награду и ему досталось угощение. Вместе с кучером Гани-байбачи и его джигитом — телохранителем Палваном — приземистым крепышом с открытой грудью, на каждом плече которого могло бы усесться по человеку, — устроились втроем в чистом углу конюшни — ели, пили, распалили головы... Рассказывали были и небылицы, подвернулась к слову история Дукчи-ишана, и каждый поведал о «диковинках», которые видел. Все, что говорилось, кучер перетолмачивал то на русский, то на узбекский, с грехом пополам растолковывая суть либо Семену, либо Палвану. Семен, разгоряченный угощением и в простоте сердечной, выложил также историю своей дочери Наташи...

Палван, однако, не слишком вникал в разглагольствования Семена и лишь время от времени взглядывал на кучера.

— Коль сам не объяснишься с этим негодником, моя не понимай, ха-ха-ха, — посмеивался он. Когда же Семен закончил рассказ о дочери, он оживился, уселся поудобней и приступил к кучеру:

— Втолкуй ему, эй, растяпа, скажи, Палван, мол, скоро в Ташкент едет, а когда вернется, мол, снова посидим вот так же. Палван, скажи, едет в Ташкент бороться с Ахмед-палваном. Скажи, растяпа, если бог, мол, пошлет удачу, большое угощение задам. Ну-ка, растяпа, попробуй-ка, переведи своему бабаю...

Спустя три месяца после торжества, однажды утром кто-то постучался в двери Семена. Отворил. Посетитель оказался долговязым детиною с тощим лицом, острым носом, глубоко посаженными глазами, одетый в расшитые сапоги и несколько слоев бекасамовых халатов, перепоюсанных поверх двумя-тремя шелковыми платками.

Он заговорил с Семеном на ломаном русском языке. И стала проясняться цель его посещения. Он-де приехал из Ташкента, он-де несколько лет разыскивает Нетай, ко-

торая приходится ему племянницей. После долгих разъездов и расспросов он-де здесь напал на след своей племянницы и теперь намерен увезти ее с собой.

Семен поначалу не придавал значения этой болтовне, выгнал посетителя вон и даже не поставил в известность о случившемся ни жену, ни Нетай. Однако три дня спустя ему доставили повестку с вызовом к мусульманскому судье — казнию.

Если через кокандский кирпичный мост вы направляетесь в старый город, то по правую руку повстречаете ворота величественного медресе. В левой, обрушенной части портала этого медресе развесил свои тенета старый паук, и вялые по холодку мухи становятся его добычей.

Пыль, вздымаемая копытами караванных коней и ослов, покрыла тенета, уподобив их мешковине.

Весенние ветры вихрем врываются в главный вход медресе и ударяют двумя створками двери из абрикосового дерева о гранитный порог. Словно хотят расколоть их, как орех. Дверь жалобно стонет и скрипит. Ветер снова бесится и, влетев во двор медресе, носится кругом, щелкая в окна сорока сороков келий. Возвращается вспять и тщится протиснуться на улицу. По пути натывается на паутину. Рвет ее нити. С легкостью сбрасывает на землю замшелые кирпичи. И вновь неуклонно несется вперед по улице, пыля черной землей, перемешанной с песком.

На портале, пониже паучьих тенет, прибит кусок старой жести (видимо, бывший поднос), по которому пущена надпись «Казыхана» — «Судилище».

Войдя именно в эту дверь, Семен был принят сначала секретарями суда и лишь потом, прождавши три часа, смог попасть в комнату самого казния. Семена встретил старик с болезненным лицом, возле которого, опередив Семена, уже восседал с рассеянным видом человек, назвавшийся дядей Нетай. Старик указал Семену место, и он сел. Пригласили толмача и начали объяснять дело. Итак: ему вменяется в вину — сокрытие по сию пору мусульманской девочки, крещение ее, оскорбление мусульман именем Наташа, данным девочке, о чем в совокупности сообщено дядей девочки в жалобе, поданной генерал-губернатору Туркестана. Генерал-губернатор же, припав во внимание посредничество весьма уважаемых в Ташкенте людей, повелел ускорить разбирательство этой жалобы, с тем, чтобы устранить причины, мешающие покою мусульман и отправлению их правоверных обрядов, а Семена Антоновича, хотя тот и является русским, подвер-

гнуть примерному наказанию. Свою светлейшую волю он объявил личному адъютанту. Во исполнение сановного приказа, адъютант прислал городскому казию Коканда и начальнику приставов письменное предписание, чтобы тот Семеп, где бы он ни находился, был сыскап, и девочка, обретающаяся при нем, в каком бы состоянии ни находилась, была силой возвращена законному дяде Самаду сыну Асадову, а дабы предотвратить возможность побега девочки, повторно указал на строгость повеленья.

Несколькими вопросами Семеп пытался возразить генерал-губернаторскому приказу, полученному кокандским казем и приставами, однако казий и слушать его не стал, а подал знак городовым, и трое из них, подхватив Семеп под руки, направились к нему домой. Не прошло и часа, как привели Нетай — несчастную девочку, совершенно оглушенную пещданной бедой, с глазами, полными слез и страха. Сколько ни цеплялись за нее Семеп с женой, положив все силы на защиту дочери, они были отторгнуты городовыми, и им пригрозили тюрьмой в случае продолжения буйства.

Как только Нетай вошла в судейскую комнату, дядя поднялся с места и поздоровался. Прослезясь, начал прсрывать показное внимание, поспешно снял с себя шелковый халат и пакинул на «племянницу», чтобы скрыть ее от нескромных глаз. Теперь в судейской комнате они остались втроем: укрытая халатом и неутошно плачущая Нетай, глядящий победителем Самад и казий, вознесшийся до небес, исполняя светлейшую волю генерал-губернатора. Сначала казий обратился к Нетай с правоученьем. Когда слезы ее унялись, принялся пугать и угрожать. Затем прочел «слово покаяния», то есть произнес те выражения, которыми иноверца обращают в мусульманство, и стал настаивать, чтобы Нетай повторила их. Нетай долго упиралась, но давление было слишком сильным и, ворочая непослушным языком, она выполнила, что от нее хотели. Казий приободрил Нетай и напоследок, вновь сославшись на приказ генерал-губернатора, призвал дядю наставить Нетай «словам послушания» и намазу, научить правильно поститься и сегодня же надеть паранджу. «Дядя» протянул казию пошлину (словно мзду за услуги) — и они вышли...

Что случилось далее с Семеном — не знаем, лишь ходили слухи по всему Коканду, что он изгнан с завода как «осквернитель веры и похититель девочки». А Наташа была упрятана в паранджу и предоставлена совершенно

неизвестному ей «дяде». Необученная ходить в парандже, непривычная к ее гнету, Нетай проливала чистые жемчужины слез и, взирая сквозь мелкую сеть новой своей клетки, прощалась с шумными улицами Коканда: вдвоем с «дядей» она шла на вокзал.

Нетай еще в Коканде решила, что «дядя» ее — человек весьма состоятельный. Нанимать извозчика даже на пять шагов, покупать без меры фрукты и сладости, брать билеты в плацкартный вагон, — не богачу ли только пристало? А теперь вот — ташкентский вокзал. Похоже, что «дядя» и здесь — человек известный. Иначе — отчего бы слышалось со всех сторон: «Самад, иди сюда!» Даже не сговариваясь о цене, подрядили извозчика. Знал ли кучер, где находится «дом дяди», но он тоже не справился — куда ехать. Прошло около получаса, и парная пролетка, в которой ехала Нетай, остановилась возле внушительного здания. «Неужто — дядин дом? Нет!» Будь это дядиным домом, к чему была бы золотая надпись вверху: ресторан «Лондон»?

Быть может, дядя проживает в номерах? Пытаясь справиться с этими противоречивыми мыслями, Нетай и не заметила, как следом за «дядей» миновала десяток ступеней и очутилась внутри здания. «Дядя» подошел к дородной женщине, дежурившей возле нумерованной доски, где на гвоздиках висело множество ключей. Женщина взглянула на них с улыбкой и выдала ключ с 16-м номером. «Дядя» снова возглавил шествие. Отперев одну из комнат, вошел. Освободил руки, положив в сторонку принесенные узелки. Комната была убрана мебелью, кроватями, различными безделушками. Нетай настороженно приглядывалась к малейшим подробностям. Внимательно рассматривала комнату, становившуюся первым прибежищем ее новой — третьей жизни.

«Дядя» улыбчиво взглянул на Нетай:

— Ну, что ж, сестра, вот вы и дома. Отныне здесь будете проживать.

Нетай вопросительно взглянула в глаза «дяди». Но спросить: «А вы?» — не успела. «Дядя» уже направлялся к двери.

— Обо всем поговорим после. Я сейчас вернусь, племянница, — сказал он и исчез.

Миновало четверть часа. Распахнулась дверь. Вернулся «дядя», приведя тучного мужчину лет сорока, безбородого, усатого, со сросшимися бровями, и еще какую-то старуху.

Старуха рассмеялась, кривя щербатый рот, в котором торчали крашенные черным лаком зубы, и заговорила, взглядывая то на «дядю», то на хозяина:

— Да в ней — магазин прелестей! Лицо — яблочко румяное, стан — как у ласки, брови — ласточкины крылья, первый сорт! — заключила она. — Иди к своей пянюшке, иди, радость моя! — добавила она, здороваясь и обнимая Нетай.

Хозяин — одна рука — в кармане брюк, другая — на кончике уса, который он покусывал зубами, — глянул на «дядю», мигнул левым глазом, и они вышли вдвоем из комнаты, оставив старуху возле Нетай.

Старуха принялась — то хвастливо, то завистливо — рассказывать о вещах, которые и во сне не снились Нетай, — о каких-то богачах и байбачах, о пудре и духах — дюжинами, о золоте, о дутарах и тамбурах, — и в конце похлопала Нетай по плечу:

— В предстоящие денечки роскошные — не забудь о пянюшке своей, милая Нетайхон. — Далее она намекала, что надеется на долю с каких-то «райских» благ.

Нетай не задавала ей вопросов и сама не отвечала ни на один вопрос. У нее потемнело в глазах, точно она находилась на краю бездонной пропасти или в окровавленных лапах могучего льва. Между тем протекло еще несколько часов. «Дядя» все не появлялся. Нетай сердито взглянула на беспрестанно тараторившую «нянюшку» и спросила:

— Где мой дядя?

Старуха вновь рассмеялась и, развязно откинув прядь каштановых волос, рассыпавшуюся по лбу Нетай, произнесла:

— Эх, простота ты моя, Нетайхон! Будь жива-здоровая, а дядьев и зятьев в этой обители — завались. Все зависит от приманчивости твоей, от умения склонить гостей к себе.

Постепенно Нетай начинала понимать настоящее свое положение, и первые безутешные слезы покатались из ее горестных глаз на желтый крашенный пол...

На другой день после того, как Нетай расположилась в новой обители, состоялось торжественное прибытие на ташкентский вокзал правителя «великодержавной» Бухары, «светлейшего султана», повелителя правоверных, «шах-ин-шаха мусульман» — эмира Саида Алимхана, заступника веры.

Эмир, в сопровождении толпы придворных, военачальников и военных советников, вышел из вагона с надписью

«Ля иляхи...» в пределы ташкентского вокзала и ступил на шелковую дорожку, расстеленную туркестанской знатью и генералитетом. Встречать его хлебом-солью вышла вся городская верхушка и духовенство, кто в мундире с позументами, кто с золотой медалью почетного гражданина, вышли все — вплоть до «величальной команды» муллы Шашкала; тут же находились — губернатор, полицмейстер, небольшое число русских купцов и части казачьих войск.

На станции был совершен весь положенный церемониал, каждый из приветствующих, соблюдая очередность по сану, произнес слово во здравие эмира Алима. Когда эмир, неторопливо и величаво пройдя по платформе, пересек помещение вокзала и приблизился к выходу в город, — первый его шаг был встречен орудийным салютом из крепости Тупраккурган.

Эмир и придворные начали рассаживаться в ожидавшие их коляски. Первыми тронулись офицеры и командующий парадом, следом — музыка, эскорт губернатора, сам губернатор, эмир, влиятельные лица вроде Саидрахима и Валиходжа-ишана с приданной охраной, а уже позади них — остальные, глядя по чину и званию. Торжественная процессия медленно продвигалась по направлению к Пьян-базару.

Судя по слухам, которые передавались в народе из уст в уста, эмир сегодня — гость князя Саидрахима, и Саидрахим устраивает свой прием в ресторане «Лондон»...

Пишущий эти строки не имел чести присутствовать на указанном приеме и лишь понаслышке излагает события. Говорят, Саидрахим, в виде достойного подарка своему эмиру, предложил ему Нетай. Говорят, за это он заплатил две тысячи рублей хозяину номеров Каракозу. Говорят, в благодарность за столь «всеобъемлющее» гостеприимство, эмир предоставил на откуп приближенному все производство каракуля в Бухаре и в подтверждение сего украсил грудь Саидрахима своей золотой медалью...

* * *

В этот день поздней весны сравнялось два года с тех пор, как по дороге в Петербург эмир переночевал в Ташкенте. Улица Пойкавак остается по-прежнему оживленной. Она продолжает свою бесполезную и беззаботную деятельность. Ей не пристали ни благонравие, ни чинность; напротив, здесь всецело царствуют распутный гогот,

охальные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли, а сама улица источает какой-то сладковатый и приторный аромат.

Арык, что пересекает Пойкавак и вливается в Салар, тоже продолжает катить свои воды, время от времени наливающиеся краснотой — то ли от стыда за ежевечерние безобразия, то ли от особенных жестокостей и зверств минувшей ночи.

Именно в этот день, когда время близилось к закату, коляска князя Саидрахима, запряженная парой буланых рысаков, медленно проезжала мимо подъезда гостиницы «Лондон». Изнутри, сквозь шум хмельных похвал, пробивался женский голос, который с рыдающим надрывом вел грустную песню на мотив ферганских «ялла». Из нее Саидрахим уловил следующее:

Не вынесу обиды боль
и злоключенья, горе мне!
Увяну в шествии весны,
не зная цветенья, горе мне!
Фиалка тонкий стебелек
вздывает нынче вечером,
А я растоптана судьбой
без сожаленья, горе мне!
Пусть острия моих ресниц
не ранят сердца вашего:
Сама бы целовала нож,
ища забвенья, горе мне!
Кому не лень тот кипарис
сгибает в три погибели,
И что ни день, то новый «друг»
ждет упоенья, горе мне!
Сыта по горло и пьяна,
любовница пресыщенных,
Под каждым пальцем я звеню
струной мученья, горе мне!

Саидрахим самодовольно усмехнулся и промолвил про себя:

— Пообвыкла дикарка. А ведь едва не опозорила перед особой эмира. — Опустив глаза, он кинул быстрый взгляд себе на грудь. Там, в одном ряду с медалями, полученными Саидрахимом за различные услуги белому царю, заняла свое — седьмое — место золотая медаль с надписью «Ля иляхи», дарованная эмиром Алимханом.